Марина

Автор:
Карлос Сафон

Марина

Карлос Руис Сафон

«Марина» – самый любимый, по собственному признанию Сафона, его роман. Испания. Барселона. Весна. Один из дежурных на Французском вокзале узнает в толпе юношу, объявленного в розыск. Целую неделю его искали знакомые, друзья, преподаватели школы-интерната. Полиция сбилась с ног. Где он был все это время? Как провел эти дни? «У каждого из нас есть секрет, тщательно запертый на все замки в самом темном углу на чердаке души» – так Оскар начинает свой рассказ о той странной волшебной ночи, когда судьба подарила ему встречу с Мариной.

Карлос Руис Сафон

Марина

Carlos Ruiz Zafon

MARINA

Печатается с разрешения компании Dragonworks S.L. и литературного агентства Antonia Kerrigan Literary Agency.

© Carlos Ruiz Zafon, 1999

© Dragonworks S.L., 2004

© Перевод. О. Светлакова, 2015

© Издание на русском языке AST Publishers, 2015

Предисловие автора к испанскому изданию

Дорогой мой друг, читатель!

Я убежден, что у каждого писателя, помимо его воли, среди его книг есть своего рода любимчики. Это тайное предпочтение не зависит ни от подлинных художественных достоинств книги, ни от того, как ее приняли критики и читатели, ни от прибыли (или, наоборот, финансовых лишений), которые ему это издание принесло. Есть таинственные причины, которые делают одни вымыслы ближе душе писателя, чем другие: что это за причины – он и сам не знает. С 1992 года, когда я начал заниматься этим странным делом – писать романы, я их написал немало, но ни один не любил так, как «Марину».

Написал я ее в Лос-Анджелесе между 96-м и 97-м. Тогда мне было тридцать три, и я начинал смутно подозревать, что так называемая «первая молодость» (оцените благодушный тон этого выражения) сделала мне, что называется, ручкой. К этому времени у меня за плечами были уже целых три романа для детей, так что едва только мне стала ясна композиция моей новой истории, как я твердо решил, что это будет мой последний опыт в детской литературе. По мере того, как дело продвигалось, роман становился все более проникнутым этим прощальным настроением, и к концу работы я понял, что внутри меня было что-то такое… сам не могу сказать что, но очень ценное, и это сокровище я терял, терял и вот навсегда утратил, и теперь всегда буду об этой потере сожалеть.

Из всех моих романов «Марина» – самый неуловимый, самый трудный для определения; наверное, и самый личный. По иронии судьбы, именно его публикация стоила мне немалой нервотрепки. Целое десятилетие книга страдала от ужасных изданий, порой откровенно контрафактных. Текст в них

выдавался за то, чем совсем не являлся, сбивая с толку читателя, а я почти ничего не мог с этим сделать. Но даже при таких обстоятельствах «Марина» находила и находит себе читателей всех возрастов и положений, читателей, обретающих на ее страницах что-то себе необходимое, читателей, искренне желающих разделить с рассказчиком этой истории, Оскаром, самые глубокие откровения его души.

И вот «Марина» у себя дома, и читатель может вместе с нею слушать Оскара – слушать его в первый раз так, как того хотел автор. Может быть, теперь-то, с их помощью, автор наконец поймет, почему этот роман так же жив в его памяти, как в день, когда был закончен, и сможет, как сказала бы Марина, вспомнить то, чего никогда не было.

Барселона, июнь 2008-го

К.Р.С.

* * *

Марина сказала мне однажды, что мы помним только то, чего никогда не было. Прошла целая вечность, прежде чем я понял эти слова. Однако надо, пожалуй, начать с начала, которое в данном случае и есть конец.

В мае 1980-го я на неделю исчез. Семь дней и семь ночей никто на свете не знал, где я нахожусь. Беглеца искали друзья, знакомые, учителя и даже полиция; предполагали, что если я и жив, то потерял память и сгинул в опасных кварталах города.

Через неделю один из вокзальных дежурных опознал объявленного в поиск юношу – подходил под описание. Заподозренный субъект маялся среди чугунных кружев и сумрака Французского вокзала Барселоны, как грешная душа в чистилище. Дежурный подошел ко мне со зловещим видом персонажа из фильма ужасов. Потом спросил, не я ли тот Оскар Драй, который бесследно исчез из школы, где учился и жил в интернате. Я молча кивнул. Хорошо помню, как в этот момент в его очках отразился арочный свод знаменитой вокзальной крыши. На перроне мы сели на скамью. Он невозмутимо достал сигарету, раскурил и оставил дымиться в руке, не поднося ко рту. Объяснил, что сейчас множество

людей только и ждет, чтоб задать мне кучу вопросов, и хорошо бы на эти вопросы подготовить правильные ответы. Я снова молча кивнул. Он пристально посмотрел мне в глаза и сказал: «Знаешь, Оскар, порой говорить правду – далеко не лучший выход». Затем, сунув мне пригоршню монет, велел пойти позвонить в школу, моему наставнику. Я позвонил. Дежурный ждал, пока я закончу разговор. Потом дал еще денег – на такси и пожелал удачи. Я спросил его, откуда он знает, что я не сбегу снова. Он долго, пытливо на меня смотрел, наконец сказал: «Бегут только те, кому есть куда бежать». Мы простились на проспекте, куда вместе вышли из здания вокзала, и вопрос о том, где же я был, так и не был задан. Он ушел по проспекту Колумба, а я смотрел ему вслед. Дым от сигареты, которую он, держа на отлете, так и не выкурил, следовал за ним, как верный пес.

В тот день кто-то – наверное, призрак Гауди – изваял в высоте над городом причудливые облачные башни, а небо просто ослепляло синевой. Я взял такси и поехал в школу, готовый к любой судьбе, включая расстрел перед строем.

Четыре недели кряду после этого учителя и психологи атаковали меня вопросами, требуя, чтоб я поведал им свои тайны. Я всем врал, рассказывая каждому именно то, что он хотел услышать и во что был способен поверить. Со временем все просто приняли положение вещей, дружно сделав вид, что неприятного эпизода просто не было. Я последовал их примеру. Мне никому не пришлось говорить правду о том, что случилось.

Тогда я еще не знал, что океан времен всегда возвращает нам воспоминания, которые мы хотим утопить в нем. Воспоминания о том дне вернулись ко мне через пятнадцать лет. Я снова увидел паренька, который потерянно бродил в сумраке Французского вокзала, и снова вспыхнуло, полоснув меня по сердцу, имя Марины.

У каждого из нас есть секрет, тщательно запертый на все замки в самом темном углу на чердаке души. Я открою вам свой.

В конце семидесятых Барселона была городом-миражом, сплетенным в странное кружево проспектов и переулков; в нем любая подворотня или интерьер заурядного кафе могли перенести вас на полвека назад. Время, память, подлинность истории, причудливость легенд плавились в его волшебном пространстве, сливаясь, как акварельные краски или как дождинки в дожде. Вот там-то и случилось все это – там, где от исчезнувших улиц осталось лишь эхо, где соборы и дома были словно из книжки сказок с картинками.

Мне было пятнадцать; я изнывал, заключенный в одно почтенное учебное заведение с именем святого в названии и с интернатом для воспитанников. Помещалось оно в самом конце проспекта Вальвидрера. В то время район Сарья, прилепившийся к окраине современной Барселоны, еще сохранял свой деревенский вид. Моя школа возвышалась над улочкой, круто поднимавшейся от Пасео-де-ла-Бонанова. Школьный фасад был монументальным до того, что заставлял зрителя думать скорее о замке, чем о школе. Здание было цвета глины, и его угловатый силуэт при ближайшем рассмотрении оказывался настоящей головоломкой, составленной из острых башенок, готических арок и темных углов.

Школьная территория была настоящей крепостью – с прочными стенами, таинственными сосновыми рощами, прудами, заросшими тиной, садами, фонтанами и неожиданно возникающими на пути внутренними двориками. Вокруг центрального здания тянулись мрачного вида каналы – над ними призрачно качались струи пара. Спортзалы, казалось, хранили некую тягостную тайну. В темноте часовен тепло сияли свечи, и улыбались изображения святых. Школа была четырехэтажной, не считая подвалов и чердачного помещения, где до сих пор жили те немногие священнослужители, что предпочли преподавание. Комнаты воспитанников были на четвертом этаже; они выходили в гулкий высокий коридор. Все эти бесконечные переходы были всегда погружены в сумрак, всегда отзывались призрачным эхом на каждое движение.

Я проводил свою жизнь в грезах наяву, ожидая ежедневного чуда, всегда приходящего ко мне в пять часов двадцать минут пополудни. В это магическое мгновение солнце наконец пробивалось в высокие окна школы – и одновременно звенел звонок, отпуская нас с уроков, даря нам до ужина в большой столовой целых три часа свободы. Считалось, что эти часы мы посвящаем занятиям и благочестивым размышлениям. Не помню ни единого случая за все время жизни в интернате, чтобы мне пришло в голову делать что-либо столь похвальное.

Это было мое любимое время дня. Наплевав на требование докладывать о выходе с территории школы, я втихаря удирал в город. Я приучился точно рассчитывать время своих тайных отлучек, возвращаясь по старинным улочкам в сгущающейся темноте точно к ужину. Эти долгие одинокие прогулки давали мне пьянящее чувство свободы. Воображение легко парило среди зданий и уносилось в небо. В эти часы не было улиц Барселоны, моей темной комнаты и школьных правил. В эти часы я, со своими двумя мелкими монетками в кармане, был счастливейшим человеком во вселенной.

Иногда меня заносило на задворки района Сарья, где на ничейной земле сохранилось подобие рощи. Старинные поместья барселонской знати, в свое время любившей селиться в районе к северу от Пасео-де-ла-Бонановы, были хоть и заброшены, но все еще гордо вздымались ввысь. Улочки вокруг моей школы были своего рода миражом, городом-призраком, в котором стены, увитые плющом, заграждали проход в одичавшие сады, в глубине которых таились старинные особняки. В монументальных резиденциях знати теперь поселились бурьян и одиночество, и только остатки памяти о былом все еще витали в воздухе, как клочья застоявшегося на холоде тумана. Часть их покорно ожидала сноса, почти все пережили за эти годы множество ограблений, но некоторые все еще были обитаемы.

Там оставались забытые люди – немногочисленные потомки угасающих древних родов. Люди, чьи имена были на первых полосах газет во времена, когда трамвай еще поражал воображение как дерзкая новинка технической мысли. Заложники мертвого прошлого, отказавшиеся покинуть терпящий бедствие корабль. Они словно боялись выйти за стены своих обветшалых особняков, чтобы дуновение времени не развеяло их, как прах. Узники своих темниц, они жгли там свечи в канделябрах. Иногда, быстро проходя мимо их заржавленных калиток и облезлых ставень, я замечал за ними чей-нибудь неприязненный взгляд.

Кончался сентябрь 1979 года. Однажды вечером во время своей обычной прогулки я решился углубиться в квартал по улочке, которую раньше никогда не замечал, – на ней рядком стояли особняки эпохи раннего модерна. Улица изгибалась, упираясь в калитку сада со всеми признаками заброшенности, обычной для этих мест. Среди деревьев угадывался двухэтажный особняк. Перед его мрачным фасадом стоял фонтан со скульптурными фигурами, по замыслу автора обнаженными, но впоследствии одетыми в мох милосердным временем. Темнело, и мне этот забытый богом и людьми угол показался неприветливым, чтоб не сказать зловещим. Царила полная тишина – только

ветер шелестел листьями, точно предупреждая меня о чем-то. Я забрел в необитаемую часть квартала. Подумалось, что самое лучшее сейчас – податься назад в свой интернат. Я стоял в нерешительности, раздираемый здравым смыслом и жутковатым очарованием покинутого всеми сада, когда вдруг увидел два ярких желтых глаза. Взгляд их упирался мне в лицо с неумолимостью кинжального удара. Я сглотнул.

Наконец мне удалось разглядеть силуэт большого кота с бархатистой серой шерстью и бубенчиком на шее – он сидел у кованой ограды старого особняка. В пасти хищника бился, агонизируя, воробей. Несколько секунд представитель кошачьих холодно изучал меня, затем, смерив взглядом, бесшумно скользнул между прутьями решетки и исчез во тьме этого обреченного Эдема. В его пасти ушел в последний свой путь и воробей.

Вид этого надменного, дерзкого животного меня просто покорил. Судя по бубенчику и ухоженной шерстке, у него был хозяин. Стало быть, под сводами старого дома обитали не только призраки старой аристократической Барселоны. Я подошел ко входу и взялся руками за прутья решетки. Металл обжег холодом. Последний вечерний свет вспыхнул в каплях воробьиной крови, цепочкой уходивших в глубь зарослей сада, густых, как лес. Вот они, драгоценные рубины, указывающие правильный путь в лабиринте… Я сглотнул слюну еще раз. Точнее, я только хотел это сделать, но не смог – во рту пересохло. Сердце бешено билось, кровь шумела в висках, словно они знали что-то, чего не знал я сам. Вот в тот-то момент я и почувствовал, что калитка подается под моей тяжестью, потому что не заперта.

Я нерешительно пробирался в глубь сада, а луна освещала бледные лица ангелов – изваяний фонтана. Они наблюдали за мной. Скованно передвигая ноги, я боялся, что эти фигуры сейчас превратятся в демонов с волчьими пастями, со змеиными языками… они набросятся на меня, сорвавшись с пьедестала… Ничего подобного не случилось. Я несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь унять разыгравшееся воображение – а еще лучше заставить себя отказаться от дурацкой попытки исследовать чужие земельные владения. И снова воля не подчинилась мне: в тенистой глубине сада вдруг разлились, подобно аромату духов, небесные звуки. Я вслушивался в едва различимую мелодию арии под аккомпанемент фортепиано. Никогда в жизни я не слышал голоса прекраснее.

Мелодия казалась знакомой, но я так и не вспомнил, что это было. Музыка доносилась из дома. Я брел туда, как загипнотизированный. Из полуоткрытой

двери застекленной веранды на землю падал туманный конус света. Знакомые желтые кошачьи глаза следили за мной с подоконника на первом этаже. Меня неудержимо тянуло все ближе к веранде, откуда доносились божественно прекрасные звуки. То был женский голос. Мягкий свет множества свечей, мерцая, освещал веранду и блестел на позолоченном раструбе граммофона, где крутилась пластинка. Почти не думая и удивляясь собственной смелости, я вошел внутрь, зачарованный, как сиреной, голосом, лившимся из граммофона. На столе, где тот стоял, блестел еще один круглый предмет; оказалось, карманные часы. Я взял их в руки, рассматривая при свете свечей. Стрелки не двигались, корпус весь в царапинах. Часы с виду были золотыми – и старыми, как и дом, в котором я их нашел. У стола стояло старое кресло с высокой спинкой, развернутое от меня лицом к камину, над которым висел портрет маслом, изображавший женщину в белом платье с большими серыми глазами. Грустные, бездонные, они словно видели все, что происходит на веранде.

Внезапно волшебство развеялось: из кресла поднялась высокая фигура и двинулась в мою сторону. Седые волосы и блестящие глаза резко выступали из темноты.

Я еще успел увидеть длинные, бесконечно длинные руки, протянутые ко мне, прежде чем в панике кинулся бежать к двери, опрокинув по пути граммофон. Иголка резко скрипнула, царапая пластинку. Небесный голос сорвался в какое-то дьявольское завывание, потом хрип. Я кинулся сквозь сад, боясь, что эти ужасно длинные руки вот-вот коснутся моей рубашки, не чуя под собой ног; страх бился в каждой клетке моего тела, я весь горел, во рту пересохло. Не смея остановиться, не оборачиваясь, я бежал и бежал, пока не почувствовал резкую судорожную боль в подреберье и не понял, что больше не могу ни двигаться, ни дышать. Все тело было покрыто холодным потом. Впереди, метрах в трехстах, светились окна моей школы.

Я проскользнул в боковую дверь у кухни, которую никогда не охраняли, и потащился к себе в комнату. Все остальные воспитанники наверняка уже давно были в столовой.

Я утер пот с лица, слушая, как все ровнее бьется сердце, успокаиваясь, и почти пришел в себя, когда кто-то постучал мне в дверь.

– Оскар, пора ужинать, – прозвучал голос моего наставника, иезуита-рационалиста по имени Сеги. Он не выносил, когда ему приходилось выполнять

функции надзирателя.

– Сию минуту, падре, – отозвался я, – уже иду.

Я быстро переоделся к ужину и погасил свет в комнате. За окном над Барселоной всходила призрачная луна. Вот тогда-то я и заметил, что золотые часы все еще со мной: я машинально зажал их в кулаке, убегая.

2

Все следующие дни я был неразлучен с проклятыми часами. Я повсюду таскал их с собой; даже ложась спать, клал под подушку и все время боялся, что их кто-нибудь увидит и спросит, откуда они взялись. Я не знал бы, что ответить. «Ты не нашел их – ты их украл», – обвинял меня внутренний голос. «Точное название твоего действия – грабеж и проникновение со взломом», – добавлял внутренний голос, на этот раз подозрительно похожий на голос актера, который играл в сериале «Перри Мейсон».

Каждый вечер приходилось терпеливо ждать ночи, чтобы в тишине моей комнаты вновь и вновь изучать нежданное сокровище. В ночной тиши, при свете фонарика я неутомимо рассматривал часы. Все обвинения на свете не могли затмить очарования, которое исходило от моего трофея, моей первой «воровской добычи». Часы были тяжелыми – наверное, не позолоченными, а из настоящего золота. Трещины на стекле говорили о пережитом ими падении или ударе. Я предположил, что это было то самое падение, которое сломало механизм часов, навечно остановив их стрелки на шести двадцати трех. На обратной стороне была выгравирована надпись:

Герману,

Повелителю света

К.А.

19–1–1964

Меня наконец осенило, что часы должны стоить прорву денег, и угрызения совести стали меня мучить с новой силой. Слова, выгравированные на часах, заставляли чувствовать себя хуже, чем вором: похитителем воспоминаний.

Так что в один дождливый четверг я решился облегчить душу, поделившись секретом. Моим лучшим другом в школе был один нервный субъект с проницательными глазами, который требовал, чтобы его называли сокращенно, инициалами Джи-Эф, хотя они не имели ничего общего с его настоящим именем. Джи-Эф обладал поэтическим даром, вольнолюбивым духом и отточенным умом. Что до языка, то он у него был настолько острым, что его обладатель сам не раз терпел боль от порезов по неосторожности. Физического сложения он был слабого; стоило ему услышать по радио слово «микроб», пусть даже речь шла об эпидемии в другой части страны, как он уже был уверен, что подхватил заразу. Я однажды сделал для него копию страницы из словаря с определением термина «ипохондрик».

– Известно ли тебе, что ты упомянут в словаре Королевской академии? – ухмыляясь, спросил я его.

Он перевел взгляд с фотокопии на меня – взгляд, способный испепелить на месте.

– Попробуй найти на ту же букву другое греческое слово – «идиот». Может быть, окажется, что не я один так знаменит, что вошел в словарь.

В тот четверг, в полуденный перерыв, мы с Джи-Эф ускользнули ото всех в сумрачный, пустой актовый зал. Наши шаги по центральному проходу, казалось, были эхом тысяч других шагов – почтительных и тихих шагов долгих поколений воспитанников нашей школы; мы словно пробудили время, копившееся здесь долгие годы, и оно зазвучало. Два луча неяркого серого света падали в тот дождливый день на слегка запыленную сцену. Там, где посветлее, мы и расположились; прямо перед нами уходили в темноту зала ряды пустых кресел. Монотонно бил дождь, и его струи, кривясь, стекали по стеклам.

– Ну так говори, что у тебя за тайны такие, – потребовал Джи-Эф.

Я молча вынул и протянул ему часы. Джи-Эф поднял бровь и оценивающе взвесил вещь на ладони. Он подержал часы еще некоторое время, потом вернул мне, заинтригованно глядя в глаза.

– Что скажешь? – спросил я.

– Скажу, что это часы, – ответил он. – А кто такой Герман?

– Не имею ни малейшего представления.

Я ему подробно рассказал о своем приключении в заброшенном доме. Джи-Эф слушал мой отчет с характерной для него терпеливой внимательностью ученого, классифицирующего факты. Когда я закончил, он еще некоторое время взвешивал услышанное, прежде чем заговорить.

– То есть ты их украл, – заключил он наконец.

– Вот в этом-то и вопрос, – возразил я ему.

– Интересно, что бы сказал об этом Герман, – парировал он.

– Герман, может, уж давно мертв, – предположил я с уверенностью, которой не чувствовал.

Джи-Эф потер подбородок.

– Я старюсь припомнить, что именно написано в Уголовном кодексе относительно умышленного похищения чужой собственности, в частности часов с посвятительными надписями… – заметил мой друг.

– Ну зачем ты говоришь о предумышленности, – взмолился я, – все произошло так быстро, я и подумать ни о чем не успел. Когда заметил, что случайно унес часы, было уже поздно что-то делать. На моем месте мог оказаться каждый. Например, ты.

– Я на твоем месте получил бы сердечный приступ, – уточнил Джи-Эф, человек слова, а не дела. – Даже если предположить, что я повелся бы на провокацию люцифероподобного котяры и поперся в этот старый особняк. Так. А теперь поразмыслим над данным казусом и над тем, что именно может из него проистечь.

Несколько минут мы сидели в молчании, слушая, как дождь стучит в окна.

– Ну что ж, – сказал Джи-Эф, – сделанного не воротишь. Ты ведь не собираешься туда возвращаться? Или как?

Я улыбнулся.

– Один – ни за что.

Глаза моего друга округлились до размера чайных блюдец.

– Даже не думай!

В тот же вечер после занятий мы с Джи-Эф выскользнули мимо кухни через боковую дверь и вскоре уже шли по той тихой кривой улочке, что вела к таинственному особняку. Неровная старая брусчатка у нас под ногами была покрыта лужами и опавшей листвой. Небо опять угрожало дождем. Джи-Эф, еще бледнее, чем обычно, был не в своей тарелке. От мысли, что мы идем туда, где прошлое захватило себе часть территории и властвует безраздельно, у него захватывало дух и леденело в животе. Тишина вокруг нас была просто оглушительной.

– А не повернуть ли нам назад, – пробормотал он, отступая на несколько шагов, – хорошенького понемножку.

– Ну, не трусь, мокрая ты курица!

– Как часто мы недооцениваем кур! Возьмем яйца…

Неожиданно в воздухе поплыл заливистый звон бубенчика. Джи-Эф резко замолк. На нас глядели желтые глаза кота. Зверюга зашипел, как змея,

выпустил когти, шерсть на загривке встала у него дыбом, а разверстая пасть продемонстрировала те самые клыки, что не так давно покончили с воробьем. Далекая молния осветила небо, дрожащий свет отразился в лужах. Мы переглянулись.

Через пятнадцать минут мы уже чинно сидели на скамье у пруда на территории школы. Часы лежали у меня в кармане пиджака. Тяжелые, как никогда.

Так закончилась неделя, и вот наступило утро субботы. Я проснулся незадолго до рассвета со смутным воспоминанием о голосе, который пел мне из старого граммофона. За окном среди ночных теней просыпалась Барселона, поблескивая стеклом и металлом в пурпурных лучах рассвета. Я вскочил с кровати и нашел проклятые часы, которые так успешно отравляли мне жизнь все последние дни. Я глядел на них. Они глядели на меня. Наконец я почувствовал решимость, которая дается только переживанием настоящего абсурда, и составил план выхода из тупиковой ситуации. Часы должны быть возвращены.

В тишине я оделся и на цыпочках прошел по темному коридору четвертого этажа. До десяти-одиннадцати часов утра моего отсутствия никто не заметит. К тому времени я надеялся вернуться в интернат.

Пустынные улицы заливал тот странный, тусклый пурпурный свет, который окутывает Барселону перед осенним рассветом. Я спустился по улице Маргенат, вокруг просыпался район Сарья. Низкие тучи плыли над его крышами, окрашиваясь первым золотом низкого солнца. Фасады дальних домов на улицах тонули в тающем тумане и летящих по воздуху листьях.

Я быстро нашел нужную мне улицу и остановился на минуту, вновь пораженный удивительной тишиной и абсолютным покоем, которые всегда царили в этом всеми забытом уголке города. Жизнь остановилась тут, подобно часам, лежавшим у меня в кармане.

Стоило мне так подумать, как у меня за спиной раздалось шуршание шин, я оглянулся и застыл с блаженной улыбкой. Мне предстало видение.

Из тумана медленно выехал велосипед. На нем спускалась по улице вниз, направляясь прямо ко мне, девушка в белом. Солнечные лучи просвечивали насквозь легкий хлопок, позволяя угадывать под ним ее безупречное тело. Длинные, очень светлые волосы вились вокруг лица, наполовину закрывая его. Я застыл, уставившись на то, как она сходит с велосипеда в паре метров от меня, словно идиот, пораженный внезапным параличом. Не то глазами, не то в воображении я отчетливо видел целиком ее стройные ноги, потянувшиеся к земле в момент остановки велосипеда. Мой восхищенной взгляд скользил вверх по ее белым одеждам, в которых она, сияя в солнечных случах, словно сошла с картины Сорольи, к ее лицу, и, наконец, утонул в ее глазах потрясающего светло-серого цвета. Они же глядели на меня саркастически. Непрерывно улыбаясь, я предстал перед ней в самом идиотском виде, какого только можно было пожелать.

– А, так это ты похититель часов? – сказала девушка тоном, полностью соответствовавшим ее улыбке.

Она была моего возраста, может, годом старше. Я не умел определять возраст женщин, умение это трудно; наука оно или искусство, не знаю, но в любом случае не дается тренировкой.

– Ты живешь здесь? – пробормотал я, показывая на калитку.

Она едва кивнула в ответ. Ее удивительные глаза прожигали меня с такой яростью, что на меня нашел столбняк, и лишь через два часа я понял, что полностью пропал, что видел самое ослепительное проявление красоты в моей жизни, как прошлой, так и будущей, аминь.

– А ты-то кто такой, чтобы задавать мне вопросы?

– Предположим, что я похититель часов, – начал я свою импровизацию. – Меня зовут Оскар. Оскар Драй. Я пришел их вернуть.

Не давая времени ответить, я вынул из кармана и протянул ей часы. Девушка глядела на них несколько секунд, перед тем как взять в руки – руки такие белые, что напомнили мне о снеге. На безымянном пальце блестело золотое кольцо.

– Они уже были разбиты, когда я их взял, – объяснял я.

– Они разбились пятнадцать лет назад, – пробормотала она, не поднимая глаз.

Когда же наконец красавица обратила на меня взгляд, он был оценивающим, словно она покупала мебель или домашнюю утварь. Что-то в ее поведении говорило, что она не принимает мою версию, а именно, что я вор; возможно, я был каталогизирован по рубрике кретинов безвредных или же дураков обыкновенных. Чему немало способствовала моя сияющая блаженной улыбкой физиономия. Приподняв брови, девушка загадочно улыбнулась и протянула часы мне назад.

– Ты их взял, тебе их и возвращать хозяину.

– Но…

– Часы не мои, – объяснила девушка. – Они принадлежат Герману.

При имени «Герман» я вдруг словно воочию увидел пугающе огромный силуэт с ореолом белых волос вокруг головы, от которого я бежал несколько дней назад.

– Какому Герману?

– Герман – это мой отец.

– А ты кто?

– А я его дочь.

– Я имел в виду, как тебя зовут?

– Я прекрасно поняла, что ты имел ввиду, – отрезала девушка.

С этими словами она снова села на велосипед и въехала в кованые ворота особняка. До того как она исчезла из виду в зарослях сада, я успел заметить, что она обернулась на меня – глаза ее откровенно смеялись. Я вздохнул и пошел

вслед. Старый особняк был на месте. Кот на ходу взглянул на меня с таким пренебрежением, что мне захотелось стать доберманом.

Облитый презрением кота, я не без труда пересек сад, уворачиваясь от цепких колючих веток, и достиг фонтана с херувимами, к бортику которого был прислонен велосипед; его хозяйка разгружала корзину, висевшую на руле. Запахло свежевыпеченным хлебом. Потом девушка вынула бутылку молока и встала на колени, чтобы наполнить миску, стоявшую тут же на земле. Кот пулей примчался неизвестно откуда, чуя завтрак. Было ясно, что исполняется ежедневный ритуал кормления.

– Я-то думал, твой кот питается только беззащитными птенчиками, – сказал я.

– Он охотится на них, но не ест. Это у котов инстинкт, они должны охотиться и защищать свою территорию, – объяснила она мне терпеливо, как ребенку. – А вот что он любит, так это молоко. Любишь молочко, Кафка?

Пушистое воплощение кафкианского абсурда облизало хозяйке пальцы в знак согласия. Девушка нежно улыбалась коту, поглаживая ему спинку. Когда она потянулась к животному, под одеждой вновь проступило тренированное, крепкое тело. Она подняла на меня глаза как раз в тот момент, когда я пялился на нее, беспомощно облизывая губы.

– Ты сам как… позавтракал? – спросила она меня.

Я отрицательно покачал головой.

– Стало быть, ты голоден. Дурачки вообще всегда голодны, – бросила она. – Пошли, накормлю. Объяснять Герману, почему ты решил стащить его часы, лучше на сытый желудок.

Столовой служила большая зала в глубине дома. Неожиданно перепавший мне завтрак состоял из круассанов, которые дочь Германа купила в булочной Фойш на Пласа Сарья, и огромной чашки кофе с молоком. Налив ее мне, она села напротив и стала смотреть, как я бодро уничтожаю яства. Так она смотрела бы на голодающего нищего, которого решила накормить: со смесью любопытства, жалости и отвращения. Сама она не притронулась к еде.

– Я тебя тут как-то видела, – заметила она, не спуская с меня глаз. – Тебя и этого маленького паренька с вечно испуганным видом. Вы много раз проходили вот тут, за домом, наверное, возвращались в интернат. А иногда ты бродил тут один, и видно было, что тебе все равно, куда податься и чем заняться. Скажем, подложить под эти трущобы хорошую бомбу…

Только я хотел сказать в ответ что-нибудь остроумное, как на стол легла тень, огромная и черная, как пролитая тушь. Моя хозяйка подняла глаза и улыбнулась. Я застыл с круассаном во рту и сердцем в пятках.

– У нас гости, – забавляясь, возвестила девушка. – Папа, позволь тебе представить: Оскар Драй, похититель часов. Оскар, это Герман, мой отец.

Я с трудом проглотил кусок и медленно встал. Передо мной уходила прямо к потолку гигантская человеческая фигура. Я заметил костюм из тонкой шерсти, жилет и галстук. Красиво зачесанные назад седые волосы падали на плечи. На угловатом, тонком лице седые усы контрастировали с темными, грустными глазами. Удивительнее всего были руки: белые руки ангела с пальцами очень белыми и очень, очень длинными. Герман.

– Я не вор, сеньор… – нервно начал я. – Я сейчас все объясню. Я решился пройти внутрь дома, потому что был уверен, что он необитаем. А потом, когда вошел в сад, услышал ту музыку, в общем, ну… в общем, я зашел и увидел часы. Я совсем не собирался их воровать, клянусь, просто когда я увидел… я испугался и побежал, а часы остались в руке, а когда я это заметил, я был уже далеко. Не знаю, понятно ли я объяснил…

Девушка коварно улыбалась. Глаза Германа смотрели на меня, темные, непроницаемые глаза. Я, порывшись в кармане, протянул ему часы, уверенный, что сейчас последуют крики, обвинения, угрозы вызвать полицию, военный патруль и представителей ювенальной юстиции.

– Я вам верю, – мягко промолвил он, беря часы и садясь с нами за стол.

Голос у него был негромкий, приятный. Дочь подала ему тот же завтрак, что и мне – круассаны и кофе с молоком. На ходу она поцеловала его в лоб, а Герман ее обнял. Я наблюдал эту сцену в ясном свете осеннего утра, разгоравшегося за огромными окнами столовой. Лицо Германа, которого я вообразил себе едва ли

не людоедом, оказалось тонким и несколько болезненным. Он любезно улыбался мне, поднося ко рту чашку с кофе, и я понял, что отца и дочь связывает глубочайшая любовь, которой не нужны ни слова, ни жесты. Лишь молчание и взгляды очерчивали вокруг них зачарованный круг в этом старинном особняке в конце тихой позабытой всеми улочки. Они жили здесь друг для друга, повернувшись спиной к миру.

Герман закончил завтракать и тепло поблагодарил меня за то, что я побеспокоился и принес назад часы. Его любезность заставила меня с новой силой почувствовать свою вину.

– Что ж, Оскар, – сказал он усталым, как мне показалось, голосом. – Очень приятно было с вами познакомиться. Будем рады видеть вас снова.

Мне было неловко, что он меня называет на «вы». Что-то было в нем еще живо от прошлого, от тех времен, когда его волосы и глаза блестели, а особняк на забытой улочке был остановкой на маршруте между Сарья и царствием небесным. Он пожал мне руку и исчез в бесконечном лабиринте своего дома. Я глядел, как он уходит по коридору, слегка прихрамывая. Дочь тоже смотрела ему вслед, и во взгляде ее я увидел тщательно скрываемую грусть.

– Герман не совсем здоров, – пробормотала она. – Быстро устает.

И сразу же прогнала с лица меланхолию.

– Съешь еще что-нибудь?

– Мне уже пора, – заторопился я, – боясь, что мое желание под любым предлогом остаться здесь с нею возьмет верх. – Мне, наверное, надо идти.

Она не удерживала меня и вышла со мною в сад. Солнце разогнало туман. Осень раскрасила деревья, отдавая предпочтение тону красной меди. Мы двинулись к воротам; Кафка мурлыкал, пригревшись на солнышке. Дойдя до ворот, девушка пропустила меня вперед, отступив на шаг в глубину своих владений. Мы молча глядели друг на друга. Она протянула мне руку – я ее пожал и почувствовал, как под нежной кожей мягко бьется пульс.

– Спасибо. И простите еще раз за…

– Не стоит извинений.

Я пожал плечами.

– Ну что ж…

Я направился вниз по улочке, и с каждым шагом магия старого дома удалялась, затихала, и вот уже почти не действовала на меня. Вдруг за спиной раздался возглас.

– Оскар!

Я обернулся. Она стояла у кованых ворот, у ног ее вальяжно сидел Кафка.

– Почему ты зашел в дом в тот вечер?

Я молча смотрел себе под ноги, словно ответ был написан на мостовой.

– Не знаю, – наконец выдавил я. – Тут есть какая-то тайна…

Девушка непонятно улыбнулась.

– А ты любишь тайны?

Я кивнул. Если бы она спросила, люблю ли я мышьяк, я бы тоже кивнул.

– А скажи, ты завтра утром сильно занят?

Все так же молча я отрицательно затряс головой. Был я занят или не был – я бы нашел способ улизнуть. Как вор я, может, не проблистал, зато как лжец достиг высот артистического мастерства.

– Тогда я тебя завтра в девять здесь жду, – промолвила девушка и пошла в глубину осеннего сада.

– Подожди!

Она оглянулась.

– Ты не сказала, как тебя зовут!

– Марина. До завтра!

Я поднял руку в знак прощания. Но она уже исчезла из виду. Напрасно я ждал, чтобы Марина оглянулась еще раз. Солнце уже полностью поднялось, и я решил, что время близко к полудню. Поняв, что Марина не вернется, я пошел назад в интернат. Старые стены, окна, ворота района Сарья заговорщически мне улыбались. Эхо моих шагов бралось неизвестно откуда: я мог бы поклясться, что парю не меньше чем в двадцати сантиметрах над землей.

4

Еще ни разу в моей жизни я не проявлял такого рвения к пунктуальности. Город потягивался и продирал глаза, а я уже бодрым шагом пересекал Пласа Сарья. Стая голубей вспорхнула у меня из-под ног, когда ударили колокола, зовущие к девятичасовой мессе. Солнце сияло, как на рекламной картинке, играя искрами в каплях, все еще падавших с деревьев после ночного дождя. Кафка вышел меня встречать аж к самому повороту на их улочку. Стайка воробьев щебетала на разумной от него дистанции – где-то над оградой.

– Привет. Кафка. Как успехи, кого еще успел убить за отчетный период?

Кот отвечал мне кратким мяуканьем и, разыгрывая из себя флегматичного английского дворецкого, повел сквозь сад к фонтану. Уже издали я увидел силуэт Марины, сидящей на бортике в одежде цвета слоновой кости, которая полностью открывала плечи. В руках у нее была книжечка в кожаном переплете, куда она что-то вписывала авторучкой – не шариковой, а старой чернильной. Она была так сосредоточена на этом, что не заметила моего присутствия. Словно сквозь невидимое стекло я некоторое время растерянно наблюдал за ней, и не надеясь обратить на себя внимание. За эти минуты я уверился в том, что сам

Леонардо рисовал ее ключицы – другого объяснения их совершенству не было. Кафка ревниво мяукнул. Ручка тут же перестала писать, глаза Марины встретились с моими, книжечка захлопнулась.

– А, ты уже здесь.

Марина повела меня незнакомым маршрутом – я едва узнавал Сарья – и на все вопросы лишь загадочно улыбалась.

– Куда мы идем?

– Терпение, терпение. Сам увидишь.

Я послушно шел за ней, хотя и подозревал ее в намерении подшутить надо мною каким-то образом. Мы спустились на Пасео-де-ла-Бонанова, потом свернули к Сан Хервасио. Миновали бар «Виктор», эту черную дыру, столь многих поглотившую. За стойкой, в истоме закатывая глаза под темными очками, тянули пиво несколько пижонов, другие у входа терпеливо грели сиденья своих мотоциклов. При нашем появлении несколько человек сдвинули свои дорогущие «Рэй-Бэны» на лоб, чтобы без помех сканировать фигуру Марины. «Счастливо оставаться», – злорадно подумал я.

Мы дошли до пересечения с улицей Доктора Ру, и Марина повернула направо. Через пару домов она свернула еще раз, на маленькую, незаасфальтированную улочку, терявшуюся в пустырях после дома номер 112. За все это время девушка не произнесла ни слова и лишь улыбалась.

– Нам сюда? – спросил я, заинтригованный.

Тропинка, по которой мы теперь шли, вилась словно без цели. Марина молчала. Наконец мы вышли на довольно большую дорогу, упиравшуюся в пышные ворота, за которыми начиналась кипарисовая аллея. Там, куда она вела, виднелся тихий город из поросших мхом надгробий, мавзолеев, крестов и лиловых теней. Старое кладбище Сарья.

Кладбище Сарья – один из самых укромных уголков Барселоны. Его с трудом находят на картах. Если спросить, как туда проехать, не всякий таксист ответит,

и даже люди, живущие неподалеку от него, не всегда о нем знают. Если вы рискнете искать его самостоятельно, скорее всего заблудитесь. Те же немногие, которые знают его секрет, уверяют, что кладбище это очень старое и там застаивается время; остров потерянного времени появляется и исчезает по своей собственной воле, и не нам его искать.

Вот куда привела меня Марина в то осеннее воскресенье, чтобы открыть тайну, мучившую меня не меньше, чем глаза той, которая ею владела. Повинуясь жестам Марины, я прошел за ней кладбище насквозь; там, в северной его части, мы устроились на небольшом холме, откуда безлюдная территория была видна как на ладони. Все в той же тишине мы созерцали могилы и увядшие цветы. Марина по-прежнему молчала, и я начал через несколько минут нервничать. Единственная тайна, которая мне теперь не давала покоя, была тайна того, какого черта я сюда приперся как дурак.

– Тихо, как на кладбище, – иронично заявил я, сознательно обостряя ситуацию.

– Терпение, – мягко сказала Марина. – Без терпения нет учения.

– А без жизни – наслаждения, – парировал я раздраженно. – Чего это мы тут выжидаем? Ничего здесь нет.

Марина медленно подняла на меня глаза, и я в который раз не смог понять значения ее взгляда.

– Как ты ошибаешься! Здесь очень много всего… Здесь лежат останки сотен людских судеб – и всего того, что в них было прожито… чувств, устремлений, разлук, иллюзий и разочарований, недолжных и обманных страстей, от которых эти жизни разрушились. И все это здесь, навсегда скрытое землей.

Я не сводил с нее глаз, пораженный любопытством и отчасти робостью – я не совсем понимал, о чем она говорит. Но что бы это ни было, оно ее волновало.

– Нет, в жизни ничего нельзя понять, пока не поймешь смерть, – добавила Марина.

Я же вновь зашел в тупик, стараясь понять ее.

– Правду сказать, никогда об этом не думал, – признался я ей. – В смысле о смерти. Серьезно – нет, никогда, хотя…

Марина медленно, бесстрастно кивнула, как это делают врачи, наблюдая симптомы, подтверждающие ужасный диагноз.

– То есть ты из этих несчастных… неподготовленных, – уточнила она непонятно.

– Неподготовленных?

Теперь я совсем перестал что-либо понимать.

Марина смотрела вдаль; ее лицо стало печальней, и она словно на глазах повзрослела. Я затих, пораженный и поглощенный ее видом.

– Ты, должно быть, и легенды не знаешь, – предположила она.

– Какой легенды?

– Я так и думала, – проговорила она медленно. – Видишь ли, согласно известной легенде, смерть имеет множество агентов своего влияния. Они ходят повсюду, наблюдают людей, отыскивая среди них пустоголовых субъектов, никогда не вспоминающих о смерти.

Тут она заглянула мне прямо в глаза.

– Стоит одному из несчастных столкнуться с таким эмиссаром смерти, как он незаметно для себя оказывается в ловушке, из которой нет выхода, он незаметно вступает во врата ада. Эмиссаров смерти можно узнать по покрову на лицах, скрывающему, что у них нет глаз – только черные провалы внутрь черепа с кишащими там червями. Когда же необходимость в маскировке отпадает, они открывают лица, чтобы неподготовленный заранее узнал об ужасе, который его ждет…

Мерные звуки ее негромкого голоса почему-то заставили меня сжаться; судорога скрутила желудок.

И только тогда Марина улыбнулась своей вероломной улыбкой. Точно как ее кот.

– Ну ты даешь, – смог я сказать наконец. – Прямо мурашки по телу.

– Само собой.

Прошли еще пять или десять минут в полном молчании. Целая вечность. Две белые голубки порхали среди могил. Муравей медленно перебирался с моего ботинка на штанину брюк. Не происходило ровно ничего. Нога у меня затекла и стала бесчувственной; я беспокойно подумал, не ждет ли та же участь и мои мозги. Еще минута, и я бы запротестовал, может, даже ушел бы, но тут Марина подняла руку, призывая меня к молчанию. Она молча указала на входные ворота кладбища.

Туда кто-то входил – судя по силуэту, это была дама, в плаще глубокого черного цвета, похожем на бархатный; капюшон скрывал ее лицо. Руки, затянутые в черные же перчатки, были прижаты к груди, одежда ниспадала до земли, и с того места, откуда мы глядели, казалось, что черная фигура без лица плавно скользит по дорожке, не касаясь ее. Я почему-то похолодел от страха.

– Кто это?

– Шшшш, – прервала меня Марина.

Прячась за колоннами, мы наблюдали за дамой в черном, а та скользила меж могилами, как привидение. В руках, затянутых в черные перчатки, она несла алую розу, и казалось, что цветок – это кровь, брызнувшая из только что нанесенной ей раны. Женщина подошла к надгробию прямо под тем местом, с которого мы за ней следили, и остановилась к нам спиной. Я вдруг заметил, что на этой могиле, в отличие от всех прочих, не было никакого имени: только странный знак, напоминавший не то бабочку, развернувшую крылья, не то еще какое-то насекомое.

Дама простояла перед могилой не меньше пяти минут, прежде чем положила розу на мрамор надгробия. Затем так же плавно и медленно скользнула прочь и исчезла. Словно видение.

Мы возбужденно переглянулись. Марина наклонилась к моему уху, чтобы что-то тихо сказать, и по всему моему бедному телу прошла горячая волна, а волосы на затылке не только встали дыбом, но даже, кажется, стали отплясывать боссанову.

– Я ее случайно заметила три месяца назад, когда мы с Германом приходили сюда принести цветы тете Реме… Она приходит сюда каждое последнее воскресенье месяца в десять утра и оставляет красную розу на этой могиле, – говорила Марина, – всегда в этом черном плаще, перчатках и с капюшоном, скрывающим лицо – никто его никогда не видел. Всегда одна. Ни разу ни с кем не заговорила.

– А чья же это могила?

Странный знак, выбитый на мраморе, очень меня заинтриговал.

– Не знаю. В записях, которые хранятся здесь на кладбище, эта могила значится безымянной.

– А кто эта женщина?

Марина как раз собиралась ответить, когда силуэт дамы в черном плавно пересек проем кладбищенских ворот и стал удаляться. Марина вскочила, потянула меня за руку:

– Скорее, а то потеряем ее.

– Мы что, за ней?

– Не ты ли страдал тут от скуки? – бросила она мне раздраженно, словно потеряв надежду втолковать мне что-нибудь.

Женщина в черном уже уходила в сторону Бонановы, когда мы дошли до улицы Доктора Ру. Снова пошел дождь, но солнце порой проглядывало сквозь тучи, озаряя золотом дождевые нити. Мы следили за дамой сквозь этот поблескивающий занавес дождя. Пересекли вслед за нею Пасео-де-ла-Бонанова, поднялись к подножию холмов, усеянных дворянскими особняками, знавшими

лучшие дни. Дама углублялась в путаницу пустынных улочек, покрытых печальным покровом сухих листьев – словно змея сбросила старую кожу и легла ей под ноги улицей. Вдруг она остановилась на перекрестке и застыла, как статуя.

– Она увидела нас… – прошептал я Марине, прячась с нею за толстым стволом дерева, покрытым вырезанными на коре надписями.

Несколько мгновений мы стояли неподвижно, боясь быть обнаруженными. Однако дама резко свернула налево и исчезла из виду. Мы переглянулись и продолжили слежку. Следы привели нас в глухой тупик, упиравшийся в железнодорожные пути, которые вели от Сарья к Вальвидрере и Сан-Кугату. Мы остановились. Дамы нигде не было видно, хотя она только что свернула в этот тупик. Над крышами и вершинами деревьев виднелись башенки моей школы.

– Она здесь живет, – предположил я, – просто зашла к себе в дом.

– Нет. Здесь никто не живет. Все эти особняки давно необитаемы, – указала Марина на темные фасады за решетками садов. Действительно, только пара старых каменных сараев и старое пожарище виднелись за темными купами растительности. Здесь никого не было. Дама будто испарилась.

Мы пошли по тупиковой улочке. В лужах блестела синева неба, опрокинутые вниз кронами деревья, а порою и мы с Мариной, но падавшие с веток капли разбивали наши скользящие отражения. В последнем особняке где-то резко хлопнула дверь. Марина молча на меня взглянула. Мы тихо приблизились, и я осторожно заглянул внутрь. Открытая дверь в красной кирпичной стене вела во внутренний двор. Видно, что раньше там был сад, но теперь все заросло бурьяном. Сквозь густую листву я различил странное здание, сплошь увитое плющом. Я не сразу понял, что это запущенная застекленная оранжерея на металлическом каркасе. Растения шуршали на ветру, словно рядом перешептывалось и роптало множество людей.

– Сначала ты, – велела Марина.

Не без внутреннего сопротивления я вступил в заросли. Марина неожиданно схватила меня за руку и пошла следом. Ноги погружались в мягкий слой какого-то мусора, шуршание вызывало в воображении образ клубка шипящих змей с

красными глазками. Царапая руки и лица, мы пробирались сквозь враждебно колючий бурьян, пока не вышли на площадку перед оранжереей. Здесь Марина отпустила мою руку и стала рассматривать это мрачное сооружение. Оно было полностью погребено под толстым слоем заплетшего его плюща.

– Боюсь, она от нас ушла, – заметил я. – Тут годами не ступала ничья нога.

Марина неохотно согласилась. Еще раз разочарованно оглядела старую оранжерею. «Поражения надо принимать молча», – подумал я.

– Пошли? – предложил я ей свою руку в надежде, что мы снова пойдем вместе, рука об руку, назад.

Марина, однако, проигнорировала мои намеки и хмуро побрела вокруг оранжереи. Я вздохнул и неохотно последовал за нею. Эта девушка порой была упрямей иного мула.

– Марина, – снова затянул я, – ты же сама сказала, что здесь никто…

Она стояла уже у противоположной стены оранжереи, видно, здесь был вход. Потом стала протирать стекло, и под грязью обнаружилась такая же странная черная бабочка, которую мы видели на безымянной гробовой плите. Стеклянная дверь оказалась открытой и медленно уступила нашему нажиму. Изнутри доносился сладковатый, душный запах тления. Так смердят болота и затхлые отравленные колодцы. Оставив позади последние обломки своего здравого смысла, я вошел внутрь, в зеленоватую мглу.

5

Запах был просто феерический: гниющее старое дерево, сырая земля и что-то вроде духов. Под стеклянным потолком стлался туман, капли конденсировались и падали на нас в полумраке, как чья-то кровь. Вдали, вне поля зрения, слышались непонятные звуки – что-то вроде металлического дребезжания, словно кто-то дергал жалюзи.

Марина медленно двигалась вперед. Было жарко, сыро. Одежда липла к телу, по лицу текли капли пота. Я обернулся, взглянул на Марину – она тоже взмокла. Металлический звук, казалось, раздавался сразу со всех сторон, нарастая в зеленоватом мраке.

– Что это? – спросила Марина, и я услышал ноту тревоги в ее голосе.

Я только пожал плечами. Мы все углублялись во мглу оранжереи. Там, где несколько лучиков света пробивались сквозь крышу, мы остановились, и Марина хотела что-то сказать, но в это время снова раздался этот пугающий металлический звук – совсем рядом. Метрах в двух. Прямо у нас над головой. Мы обменялись взглядом и медленно подняли головы к просвету в стеклянном потолке. Марина взяла меня за руку. Она дрожала. Я тоже.

Мы были окружены. В полумраке вырисовывались угловатые силуэты, словно висящие в воздухе. Я насчитал их с дюжину, больше: руки, ноги, глаза, блестящие в темноте. Они неподвижно, устрашающе висели над нами, эти адские куклы, и, задевая при покачивании друг о друга, издавали металлический шорох. Непроизвольно мы подались назад, и раньше, чем успели что-либо понять, все это воинство обрушилось на нас: Марина случайно наступила на рычаг, связанный с системой блоков, удерживавшей в воздухе эти застывшие фигуры. Я кинулся к Марине, чтобы закрыть ее сверху, и мы оба упали. Нас оглушил звон стекла и скрежет какого-то механизма. Я представил, как осколки острыми клиньями падают дождем и вонзаются нам в тело, и в этот момент что-то холодное коснулось моего затылка. Чьи-то пальцы.

Я смог открыть глаза. Прямо в лицо мне улыбалась безжизненная лаковая рожа куклы из желтоватого полированного дерева со стеклянными глазами. Рядом со мною Марина подавила вскрик.

– Это марионетка, – выдавила она хрипло.

Мы поднялись и удостоверились, что существа, напугавшие нас, действительно были марионетками. Фигуры для кукольного театра, сделанные из дерева, металла и керамики. Подвешенные на тросиках к крючкам на потолке. Рычаг, нечаянно нажатый Мариной, привел их в движение. Висели они, на две-три ладони не доставая до пола, и подергивались в воздухе, словно висельники в пляске смерти.

– Какого черта?.. – вырвалось у Марины.

Я разглядывал кукол. Вот фигура, одетая магом, вот полицейский, танцовщица, вот знатная дама в роскошном платье винно-красного цвета, ярмарочный силач… Все они были в натуральную величину, все одеты в роскошные наряды, которые время превратило в лохмотья. И было еще что-то, что их неуловимо объединяло – какая-то общая черта, придававшая всем им странную схожесть друг с другом.

– Да они незаконченные, – догадался я.

Марина сразу поняла, что я имел в виду. Каждой кукле чего-то недоставало. У полицейского не было рук. У танцовщицы – глаз, вместо них страшно зияли пустые глазницы. У мага – ни рта, ни рук… Я рассматривал фигуры, а они покачивались в призрачном зеленом свете заброшенной оранжереи. Марина подошла к танцовщице и тщательно ее осмотрела. Показала мне на маленький знак на лице куклы, у границы волос: маленькая черная бабочка. Снова она. Марина протянула руку, коснулась метки, волос – и неожиданно отдернула руку жестом омерзения.

– Волосы… они настоящие.

– Быть не может.

Мы проверили каждую куклу: на всех были метки в форме бабочки. Мы подняли их назад при помощи того же рычага. Глядя, как они безвольно повисли, покачиваясь в пустоте, я подумал, что их механические души отчаянно, но напрасно ждут, когда придет их творец и соединится с ними.

– А здесь еще кое-что, – услышал я голос Марины за спиной.

Я оглянулся и увидел, что она показывает мне на старый письменный стол в углу. Он был весь покрыт слоем пыли, и паучок бежал по столешнице, оставляя тонкий след. Я наклонился и сдул пыль, подняв в воздух серое облачко. Оказалось, на столешнице лежит переплетенная в кожу толстая квадратная книга, раскрытая посередине. В центре страницы наклеена фотография в сепии, подпись гласила: «Арль, 1903». На фотографии – девочки, сиамские близнецы, сросшиеся торсами. Девочки в праздничной одежде улыбались в камеру, и

трудно было представить улыбку грустнее.

Марина пролистала альбом. Обычный старый фотоальбом, только вот фотографии не назовешь ни обычными, ни даже нормальными. Сиамские близнецы оказались еще цветочками. Пальцы Марины листали страницы, а мы со смесью ужаса, отвращения и зачарованности рассматривали старые снимки. Я почувствовал наконец, что у меня мурашки по всему телу.

– Уроды… – бормотала Марина. – Природные феномены, их часто эксплуатировали в цирковых зрелищах…

Созерцание людских уродств возымело сильное действие: меня словно избили кнутом. Открылась изнанка человеческого, и она была ужасна. Я видел, как внутрь чудовищно искаженного тела были заключены невинные души и как они там мучились. Шуршали листы альбома, шли минуты, мы молчали. Одна за другой фотографии представляли нам чудовищ, которых не мог бы породить ни один ночной кошмар. И страшнее самих уродливых тел были взгляды изнутри их – взгляды, горевшие ужасом, одиночеством, отчаянием.

– Господи помилуй… – шептала Марина.

Фотографии были датированы и помечено место съемки: Буэнос-Айрес, 1893; Бомбей, 1911; Турин, 1930; Прага, 1933… Я терялся в догадках, не в силах представить, кто и зачем мог бы собрать такую коллекцию. Этот адский каталог. Наконец Марина оторвалась от фотографий и ушла в темноту. Я тоже хотел уйти за ней, но не мог прекратить рассматривать бесконечное разнообразие боли и ужаса, глядевшее на меня со старых снимков. И через сто лет я не забуду, как они смотрели на меня, эти существа. Наконец я захлопнул альбом и подошел к Марине. Она глубоко дышала там, в полумраке, и я вдруг почувствовал себя таким маленьким, незначительным, таким растерянным. Я не знал, что делать, что сказать. В этих фотографиях было что-то такое, от чего я попросту на куски рассыпался.

– Ты как, в порядке?.. – спросил я наконец.

Марина, не открывая глаз, кивнула. Вдруг что-то зазвучало в зеленой мгле. Мы застыли, вперившись глазами в тени, окружавшие нас. Снова раздался этот звук, неизвестный, непонятный. Враждебный. Зловещий. Потянуло гнилью,

тошнотворно и сильно. Словно зверь во тьме открыл зловонную пасть и дохнул. У меня появилось ужасное чувство, что мы уже не одни, что рядом с нами кто-то есть. Он наблюдает за нами. Марина, окаменев, неподвижно смотрела во мглу. Я сжал ее руку и повел к выходу.

6

Мы вышли из сада в серебристую дымку дождя, одевшую улицы. Было около часу дня. На обратном пути – Герман нас ждал к обеду – мы не обменялись ни словом.

– Герману, пожалуйста, ничего не говори, – попросила Марина.

– Не беспокойся.

Я подумал, что даже если бы и захотел, не смог бы объяснить, что с нами произошло. Чем дальше мы уходили от сада со старой оранжереей, тем хуже я понимал и помнил те странные и мрачные вещи, которые там видел. На площади Сарья я заметил, что Марина бледна и дышит с трудом.

– Что с тобой, как ты себя чувствуешь? – встревожился я.

Марина сказала, что все хорошо, но как-то неубедительно. Мы присели на скамью. Закрыв глаза, она тяжело переводила дыхание. У наших ног что-то клевали голуби. В какой-то миг мне показалось, что Марина сейчас потеряет сознание. Вдруг она открыла глаза и улыбнулась мне.

– Не пугайся. Небольшая дурнота. Наверное, из-за этого ужасного запаха.

– И правда, он был ужасным. Падаль какая-нибудь. Крыса или…

Марина согласно кивнула. Наконец ее бледность прошла, щеки снова порозовели.

– Мне просто надо поесть. Пошли уже. Герман небось уже волнуется.

Мы пошли к ее дому. Кафка ждал нас у кованых ворот. На меня он взглянул холодно, а Марину приветствовал, кратко, но дружественно потершись о ее лодыжки. Я размышлял, как прекрасно быть котом, когда раздалась та самая небесная музыка, что увлекла меня ночью в этот сад – голос, певший из граммофона Германа. Музыка заполнила сад, как неудержимые весенние воды.

– Что это за музыка?

– Это Делиб.

– Никогда не слышал.

– Лео Делиб. Француз. Композитор, – объяснила Марина. – Не проходили в школе?

Я пожал плечами.

– Это из его оперы «Лакме».

– А кто поет?

– Моя мама.

Я смотрел на нее в изумлении.

– Твоя мать – оперная певица?

Марина ответила бесстрастно:

– Была певицей. Она умерла.

Герман ждал нас в большой гостиной – просторной овальной комнате. С потолка струился, разбиваясь на разноцветные искры в хрустале, свет большой люстры. Отец Марины оделся почти как на дипломатический прием, строго соблюдая

этикет, – костюм, жилет, красивые седые волосы безупречно причесаны. Выглядел он, словно вышел из глубин времени – примерно из конца девятнадцатого века. Мы расселись за столом, сервированным серебром на белоснежной льняной скатерти.

– Как приятно, что вы разделите с нами обед, Оскар, – сказал Герман своим негромким голосом. – Не каждое наше воскресенье украшено таким приятным обществом.

Посуда была тонкого фарфора – любой антиквар затрясся бы от жадности. В меню же был только суп с аппетитным запахом и свежий хлеб. Больше ничего. Пока Герман наливал суп мне, как гостю, первому, я подумал, что весь этот парад устроен ради меня. В этом доме был музейный фарфор, фамильное серебро и обычай воскресного парадного обеда, но не было денег на второе блюдо. Больше того, не было и электричества. Дом освещался свечами. Герман словно прочел мои мысли.

– Кажется, вы заметили, Оскар, что у нас нет электричества. В самом деле, это так. Мы как-то не очень доверяем современной технике. Да и как доверять силе, которая может перенести человека на Луну, но не может дать каждому хлеба досыта?

– Возможно, дело не в самой технике, а в тех, кто ее использует, – предположил я.

Герман, обдумав мой ответ, кивнул с медлительной торжественностью – не знаю, искренне убежденный или просто из вежливости.

– Я чувствую в вас, Оскар, философскую жилку. Вы читали Шопенгауэра?

Марина, не скрывая заинтересованности, слушала, что я отвечу.

– Так, поверхностно, – выкрутился я.

Суп мы ели молча, с удовольствием. Герман иногда мне улыбался с рассеянной ласковостью и не отрывал любящего взгляда от дочери. Что-то мне подсказывало, что у Марины нет друзей и что Герман доволен моим

присутствием, пусть даже я и не отличаю Шопенгауэра от модного обувного бренда.

– Что ж, Оскар, расскажите мне, что нового в мире.

Он так это спросил, что мне пришли в голову странные мысли. Может, он не слыхал о конце Второй мировой. Вот объявлю о нем сейчас, и произведу сенсацию.

– Да какие там новости, – промямлил я под острым, бдительным взглядом Марины. – Вот выборы будут…

Интерес Германа неожиданно пробудился, он опустил ложку и поддержал тему:

– А ваши убеждения каковы, Оскар? Вы левый или правый?

– Папа, Оскар убежденный анархист, – решительно заявила Марина.

Я подавился хлебом. Анархистов на мотоциклах я видел, но в чем состоят их убеждения, понятия не имел. Герман окинул меня долгим, заинтересованным взглядом.

– Ах, молодость… – пробормотал он. – Святой идеализм. Понимаю, понимаю. Сам в вашем возрасте зачитывался Бакуниным. Это надо пережить, как корь…

Я прожег убийственным взглядом Марину, а та только загадочно улыбалась, наверное, научилась у своего кота. Наконец быстро подмигнула и отвела взгляд. Герман смотрел на меня с нескрываемой симпатией, я вернул ему улыбку и поспешил заняться супом. Это позволяло по крайней мере молчать, а кто молчит, не делает ошибок. Некоторое время мы ели в тишине. Вдруг я заметил, что Герман уснул прямо за столом. Марина ловко подхватила выпавшую ложку и ослабила его галстук из серебристого шелка. Герман глубоко вздохнул. Одна из рук мелко дрожала. Марина помогла отцу встать. Он тяжело оперся на ее плечо, слабо улыбнувшись мне со стыдом и горечью.

– Вы простите меня, Оскар, – сказал он севшим голосом. – Возраст…

Я встал, пытаясь помочь Марине, но она взглядом показала, что этого не нужно, и я остался в столовой, а они ушли – дочь поддерживала отца.

– Очень рад, Оскар, очень рад знакомству, – тихо прошелестел его голос, когда они удалялись в тьму коридора. – Приходите к нам еще, да, приходите еще…

Их шаги затихли в глубине дома, а я остался при свете свечей и ждал возвращения Марины еще полчаса, проникаясь атмосферой старого дома. Когда мне стало понятно, что Марина уже не вернется, я начал беспокоиться. Пойти на ее поиски по незнакомому дому я стеснялся. Уйти не попрощавшись я не мог. Оставить записку тоже, в комнате не нашлось чем ее написать. Тем временем смеркалось, мне надо было возвращаться в интернат. Я решил прийти на следующий день после уроков и узнать, все ли хорошо. И сразу понял: ведь не прошло и получаса, как я не вижу Марину, а я уже ищу предлога вернуться к ней. Через кухню я прошел к кованым воротам сада. Над городом гасло вечернее небо с неторопливыми тучами.

По пути к школе, медля и мысленно возвращаясь к событиям этого дня, я старался снова пережить каждую минуту. Поднимаясь по лестнице в свою комнату, я пришел к выводу, что более причудливого и странного дня в моей жизни не было. Но если бы его можно было повторить, я бы сделал это не задумываясь.

7

Той ночью мне приснилось, что я заперт внутри огромного калейдоскопа. Какой-то дьявол – я видел только его огромный глаз в круглом стекле – вертел его и заставлял меня кувыркаться. Мир дробился и рассыпался, цветные пятна и причудливые отражения сводили с ума. А, это насекомые. Черные бабочки. Я вскочил с постели с бешено бьющимся сердцем, словно кровь во мне вдруг превратилась в кипящий крепкий кофе. Целый день продолжалась эта лихорадка, не отпуская меня и на уроках. Все учебные темы того понедельника были поездами, которые проследовали мимо меня без остановки. Джи-Эф сразу заметил, что со мной что-то не то.

– Обычно ты всего лишь витаешь в облаках, а сегодня вышел за пределы атмосферы, – подвел он итог. – Слушай, ты не заболел?

Я рассеянно успокоил его и снова посмотрел на часы над доской аудитории. Три тридцать. Занятия закончатся через два часа. Целая вечность. За окном поливал дождь.

При первом же звуке звонка я сорвался с места, предупредив Джи-Эф, что сегодня не пойду с ним на обычную прогулку. Коридоры были еще длиннее, чем обычно. Сад и фонтан у входа в наше здание потускнели под дождем. Небо висело, как свинцовая пластина. Фонари, как гаснущие спички, едва желтели во влажном воздухе. Я был без зонтика и даже без капюшона, так что бросился бежать. Перепрыгивал через лужи, огибал потоки воды и наконец выбежал на улицу. Дождевой поток тек вниз по тротуару неудержимо, как кровь из отворенной вены. Уже промокший до костей, я бежал по мрачным безлюдным улицам, а вода ревела подо мной в канализационных стоках. Казалось, город погружается в черный океан. Я добежал до ворот особняка Марины и Германа за десять минут – и к этому времени промок до нитки. На горизонте день догорал серым, в мраморных разводах, закатом. На углу переулка вдруг что-то с треском обвалилось. Я испуганно оглянулся. Никого – только дождь лупил по лужам пулеметными очередями.

Я протиснулся в калитку. Молнии освещали путь к дому. Херувимы над фонтаном у входа приветствовали меня. Стуча зубами, я добрался наконец до кухонной двери. Она оказалась открытой. Я вошел. Тьма была там непроглядная. Я вспомнил, что Герман говорил – в доме нет электричества.

До этой минуты я и не подумал ни разу, что вообще-то пришел без приглашения. Вот уже второй раз я лезу в этот дом в темноте и без малейшей причины. Подумал даже уйти, но буря разошлась к этому времени так, что было не выйти. Вздохнув, я стал растирать руки, которых почти не чувствовал от холода. Ледяная одежда липла к телу. Кашель сотрясал меня так, что стучало в висках. «Полцарства за махровое полотенце», – подумал я и позвал:

– Марина, ты здесь?

Только эхо отвечало мне из темных коридоров. Темнота стояла вокруг, как толпа молчаливых теней. Только молнии освещали сквозь окна кухню, словно вспышки

фотокамеры.

– Марина? – настырно продолжал я. – Где ты? Это Оскар…

Я несмело прошел внутрь. Промокшие ботинки хлюпали при ходьбе. Столовая, где мы вчера ели, стояла пустой. Стол не накрыт. Стулья пустуют.

– Марина? Герман?

Ответа не было. На столике у стены я разглядел подсвечник и коробку спичек. Руки закоченели так, что только с пятой попытки удалось зажечь спичку.

Я поднял над собой мерцающий слабый свет. Комната призрачно вырисовалась передо мной, стал виден вход в коридор, где вчера я последний раз видел Марину и ее отца. Оказалось, он ведет в другой большой зал, также с большой хрустальной люстрой под потолком, таинственно блеснувшей наверху, как большой бриллиант. Тени скользили по стенам, бросаясь в углы, когда молния сверкала в окна. Старая мебель спала мертвым сном, укрытая белыми простынями. Из этой залы вела вниз мраморная лестница. Чувствуя себя взломщиком, я почти решился сойти вниз, когда заметил над верхней ступенькой два желтых глаза и услышал мяуканье. Кафка. Я с облегчением вздохнул. Кот исчез в потемках. Я растерянно оглянулся. Увидел только цепочку собственных мокрых следов на пыльном полу.

– Кто здесь? Марина? – звал я снова и снова, и никто мне не отвечал.

Я представил себе этот зал в праздничном убранстве несколько десятилетий назад. Оркестр, танцующие пары. А теперь он больше напоминает затонувший корабль под толщей воды.

На стенах было много картин. Все – портреты. И все – одной и той же женщины. Я узнал ее. Та самая, что смотрела на меня с портрета в первый вечер, когда я нечаянно забрел в дом. Великолепное исполнение портретов, магия линии и краски поразили меня почти сверхчеловеческим совершенством, и я спросил себя: кто же автор портретов? Было очевидно, что он один, что все портреты – одной кисти. Дама, казалось, смотрит на меня сразу со всех сторон, и сходство ее с Мариной так и бросалось в глаза. Того же рисунка губы на бледном, почти прозрачном лице. Та же стать, та же фарфоровая стройная хрупкость. Тот же

пепельный оттенок серых глаз, таких бездонных, таких грустных. Тут кто-то коснулся моей ноги. Кафка терся о мои мокрые ботинки. Я нагнулся, приласкал его, погладил серебристую шерстку.

– Ну и где наша Марина? Где твоя хозяйка?

Ответом было меланхолическое мурлыканье. Дом очевидно был пуст. По крыше барабанил дождь. Тонны воды падали и падали с неба. Я старался представить себе ту невообразимую причину, которая заставила Марину и Германа покинуть дом в такую погоду. В любом случае меня это не касалось. Я еще раз погладил Кафку и решил уйти раньше, чем они вернутся.

– Один из нас здесь лишний, – шепнул я Кафке. – Догадываешься, кто? Да, это я.

Вдруг шерсть у кота встала дыбом. Я ощутил, как он весь напрягся под моей рукой, в панике пронзительно мяукнув. Что могло до такой степени напугать животное? И вдруг я понял: запах. В комнате разлился тот самый гнилостный смрад, который был и в оранжерее. Меня затошнило.

Я поднял взгляд. За окном колыхался дождь. Его завеса едва позволяла разглядеть ангелов в скульптурной группе над фонтаном. Инстинкт громко говорил мне, что здесь что-то не так и что дело плохо. Среди фигур одна была лишней. Я прижался лицом к окну. Одна из скульптур двигалась – поворачивалась. Я окаменел. Черт лица не было видно – только черная фигура в длинной одежде. И я ее уже где-то видел. Прошли несколько мгновений, показавшихся мне целой вечностью, фигура исчезла во мраке, а я смог пошевелиться. При следующей вспышке молнии фонтан выглядел как всегда. Запах тоже исчез.

Я не придумал ничего лучшего, как сесть и ждать Германа с Мариной. Выйти из дому я просто не мог себя заставить. Буря не утихала. Я упал в зачехленное кресло. Постепенно полумрак, монотонный звук дождя и изнеможение вогнали меня в сон. Разбудил меня скрежет ключа, поворачиваемого в замке, скрип дверей и шаги. Сердце остановилось, потом бешено застучало. В коридоре послышались шаги, показалось пятно света от свечи. Кафка ринулся навстречу Марине и Герману, входившим в зал. Марина остановила на мне холодный взгляд.

– Что случилось? Почему ты здесь, Оскар?

Я забормотал что-то бессмысленное. Герман же ласково улыбнулся и вдруг, присмотревшись ко мне, воскликнул:

– Боже мой, Оскар, да вы насквозь промокли! Марина, принеси-ка полотенца… Идите сюда, Оскар, зажжем огонь, как без огня в такую ночь, ну и погодка…

Я устроился у камина и потягивал из чашки что-то вкусное и горячее, принесенное Мариной. Мямля и спотыкаясь, я все же сумел рассказать о том, как оказался в их доме – не упоминая о черном силуэте, который видел из окна, волне зловония и реакции кота. Герман очень благосклонно принял все мои объяснения. Казалось, он не только не против моего вторжения, а даже приветствует его. Марина – наоборот. Если бы взгляды сжигали, от меня осталась бы лишь кучка пепла. Я всерьез начал опасаться, как бы моя привычка без приглашения являться в их дом не повредила нашей начавшейся было дружбе. За те полчаса, что мы сидели у огня, она и рта не раскрыла. Когда же Герман пожелал мне спокойной ночи и ушел, я приготовился к выволочке и разрыву отношений.

«Вот оно, – думал я, – начинается. Ну, наноси последний удар». – Марина саркастически улыбалась.

– Ты похож на барашка в предобморочном состоянии, – сказала она мне.

– Спасибо. – Я благодарил искренне, поскольку ожидал куда худшего.

– Так ты расскажешь наконец, какого черта сюда притащился?

Глаза ее ярко блестели, отражая огонь камина. Я допил горячий напиток и опустил взгляд.

– Ну, по правде сказать… видишь ли…

Вид у меня был наверняка жалкий. Настолько, что Марина вдруг встала, положила мне руку на плечо и потребовала:

– Смотри в глаза.

Я повиновался. Она вглядывалась в мое лицо сочувственно, по-доброму.

– Я не сержусь, понимаешь? – промолвила она наконец. – Просто удивилась и растерялась, увидев тебя здесь так неожиданно. По понедельникам мы с Германом всегда ходим к его врачу в больницу Святого Павла, вот почему ты никого не застал. Понедельник у нас не для приема гостей.

Мне стало стыдно.

– Это больше не повторится, – пообещал я.

Очень хотелось обсудить с ней жуткий черный силуэт, который я видел у фонтана, но тут она вдруг рассмеялась и, наклонившись, поцеловала меня в щеку. Этого касания ее губ было достаточно, чтобы моя одежда разом высохла и едва ли не вспыхнула. Ни единого слова я не смог бы произнести в тот момент, не то что обсуждать призраков. Марина заметила мое смущение.

– Что с тобой? – спросила она меня.

– Ничего. – Я с трудом отрицательно покачал головой.

Она подняла бровь, как бы усомнившись, но ничего больше не сказала.

– Может, еще немного бульона? – спросила она, поднимаясь на ноги.

– Спасибо.

Марина ушла с чашкой на кухню за новой порцией, я же остался у огня, зачарованно рассматривая даму на портретах. Вернувшись, Марина проследила за моим взглядом.

– Эта дама с портретов… – хотел спросить я.

– Это моя мама, – прервала меня Марина.

Я почувствовал, что мы вступаем на неверную почву.

– Знаешь… Это поразительные портреты, никогда не видел ничего подобного. Словно художник смог сделать моментальный снимок души.

Марина молча кивнула.

– Я никогда не видел ничего кисти этого художника, а ведь это наверняка очень известный мастер, – настойчиво выспрашивал я у нее.

Марина долго не прерывала молчания.

– Не видел и не увидишь. Этот мастер уже шестнадцать лет ничего не пишет. Эта серия портретов – его последняя работа.

– Он должен был очень хорошо знать модель, то есть твою маму, чтобы так ее написать.

Марина задумчиво смотрела мне в лицо, и этот ее долгий взгляд точно повторял взгляд, запечатленный на портретах.

– Он знал ее лучше всех людей на земле, – наконец сказала она. – Он даже женился на ней.

8

Той ночью у камина Марина рассказала мне историю Германа и его особняка в Сарья.

Герман Блау родился в процветающей каталонской семье, знатной, богатой и культурной. Всего было в достатке у рода Блау – и ложа в театре Лисео, и фабрики близ Сегре, и широкая известность, порой и скандальная. Так, относительно Германа шли слухи, что его матушка, Диана, родила его не от главы рода Блау, а от одного колоритного персонажа по имени Ким Сальват –

вольнодумца, живописца и профессионального развратника. Он очаровывал, развращал и подвергал позору лучшие семейства того времени, а потом им же продавал по астрономическим ценам портреты, на которых были запечатлены для вечности испорченные им женщины. Как бы то ни было, в Германе никогда не находили ни одной черты, роднящей его с семейством Блау – ни физической, ни душевной. Единственное, к чему он проявлял интерес, были живопись и рисунок, что сразу же возбудило во всех самые черные подозрения. Особенно в его законном отце.

Когда Герману исполнилось шестнадцать, семья, в лице ее главы, объявила ему, что не потерпит более нечестивой склонности к свободным искусствам, которые суть не что иное, как ничегонеделание. Вместо того чтобы тратить время, «учась на художника», юноша должен был пойти работать на фабрику отца, или же в армию, или куда-нибудь еще в такое место, где его характер окрепнет, а убеждения сформируются должным, то есть полезным образом. Герман предпочел бежать из дому, куда его, впрочем, через сутки вернула жандармерия.

Глава рода, чьи надежды были так безжалостно растоптаны его первенцем, перенес свое внимание на второго по старшинству сына, Гаспара, который усердно изучал семейный текстильный бизнес и просто молился на семейные традиции. Опасаясь за будущее членов своего рода, старый Блау выделил Герману особнячок в Сарья, к тому времени уже много лет полузаброшенный. «Ты нас, конечно, опозорил, – сказал старик, – но я не для того всю жизнь работал как вол, чтобы люди злословили – дескать, потомок Блау побирается на улицах». Особняк был в свое время и красив, и знаменит, и посещаем самыми знатными людьми города, но с тех пор никто не поддерживал в нем порядок. Вокруг него словно бы витало проклятие. Говорили, между прочим, что любовные встречи Дианы и вольнодумца Сальвата происходили именно там. Теперь, по иронии судьбы, особняк отошел Герману. И тогда же Герман, при тайной поддержке матери, пошел в ученики прямо к этому самому Сальвату. При их первой встрече тот пристально посмотрел юноше в глаза и веско произнес следующие слова:

– Первое. Я не твой отец и знаю твою мать только с виду. Второе. Жизнь художника связана с риском, неустроенностью и почти всегда с нищетой. Эту жизнь не мы выбираем: наоборот, она выбирает нас для себя. Если ты сомневаешься хотя бы в одном из двух данных пунктов, лучше ступай прочь, дверь позади тебя.

Герман остался.

Годы учения у Кима Сальвата стали для молодого художника прорывом в другой мир. Он впервые видел, что в него кто-то верит, понял, что у него есть талант, что он значим сам по себе, а не только как отпрыск рода Блау. Он почувствовал себя другим человеком. За шесть месяцев он научился большему, чем за всю предыдущую жизнь.

Сальват оказался человеком экстравагантным, щедрым и очень изысканным, знатоком и любителем наслаждений жизни. Работал он только по ночам и, невзирая на внешность (больше всего он походил на медведя), был и в самом деле настоящим сердцеедом, чья власть над женскими сердцами была едва ли не большей, чем его талант живописца.

Красотки, от вида которых останавливалось сердце, и дамы из высшего общества так и ломились в студию Сальвата, желая заказать свой портрет и, как подозревал Герман, желая чего-то еще. Сальват был тонким знатоком вин, поэзии, старых европейских городов и акробатической техники камасутры, которую вывез из Бомбея. Все сорок шесть лет своей жизни он прожил с бешеной интенсивностью, говоря, что люди в глубине души полагают себя бессмертными и что это самое пагубное из их заблуждений. Он смеялся над жизнью, смеялся и над смертью; над человеческим он смеялся так же громко, как над божественным. Он был блестящим кулинаром, на уровне шеф-поваров ресторанов, превозносимых Мишленом, впрочем, у всех них он обедал и чему-нибудь учился. За время, проведенное рядом с Сальватом, Герман стал не только его лучшим учеником, но и лучшим другом. Герман всегда помнил, что полнотой своей жизни, человеческой и артистической, он обязан Киму Сальвату.

Сальвату как художнику было дано то, что дается немногим – ощущение света. Он говаривал, что свет капризен, как прима-балерина, которая знает о своем могуществе и вертит всеми в театре как хочет. На его же полотнах свет был ему покорен, танцевал строго под музыку, и в результате картины Сальвата становились чудом, открывающим душе двери в небо. По крайней мере, именно в таких восторженных выражениях их описывали каталоги выставок.

– Писать надо не кистью, а светом, – утверждал Сальват. – Сначала изучи световой алфавит; потом световую грамматику. И только потом, быть может, ты найдешь собственную манеру с ним управляться, собственную магию.

Именно Ким Сальват расширил для юноши границы мира, потому что брал его в свои многочисленные поездки. Вена, Берлин, Рим… Герман быстро понял, что Сальват не только хороший живописец, но и прекрасный делец, умело продающий свои полотна. Секрет его успеха был скорее во втором, чем в первом.

– Из тысячи людей, покупающих произведение искусства, едва ли один имеет хотя бы отдаленное представление о том, что он покупает, – объяснял Сальват с тонкой улыбкой. – Все остальные покупают не произведение, а имя знаменитого художника, покупают его славу, миф о нем. Наш бизнес решительно ничем не отличается от искусства продать человеку пилюли от кашля, средство от облысения или любовное зелье, Герман. Разница только в цене.

Этот великодушный и щедрый человек прекратил свое существование в 1938-м, шестнадцатого июля. Шептались, что художника погубили излишества. Герман же был уверен, что его сломили ужасы начавшейся войны, отрицавшие его жизнелюбивую философию, подорвавшие его волю к жизни и наслаждению.

– Я мог бы писать еще тысячу лет, – бормотал Сальват на смертном ложе, – и так и не изменить их невежества, их скотства ни на йоту. Люди безнадежны, Герман. Красота – что мое дыхание против ветра, который ломится сейчас в окно, мой мальчик, и называется реальностью. Красота не нужна им, они не находят в ней пользы…

На похоронах его оплакивали толпы любовниц, кредиторов и полузнакомых людей, которым он когда-то совершенно бескорыстно помог и сразу о том забыл. У его гроба всем вдруг стало ясно, что погас какой-то свет и теперь предстоит жить во мгле, пустоте, одиночестве.

Сальват оставил Герману очень небольшую сумму денег и свою студию, поручив как душеприказчику распределить остальное между друзьями и любовницами. Распределять было особо нечего, так как художник проживал больше, чем зарабатывал, и всегда имел долги. При оглашении завещания нотариус передал Герману письмо от Сальвата, которое тот написал ему, зная о своей скорой кончине. Письмо, которое он должен был прочитать после его смерти.

Тихо плача, потерянный и ничего не понимающий от горя, Герман всю ночь бродил по городу. Рассвет застал его у моря. Там, на волнорезе, под первыми

лучами солнца, он прочитал последние слова, сказанные ему Кимом Сальватом.

«Дорогой Герман!

При жизни я тебе этого не смог сказать. Все ждал подходящего момента. Теперь ждать уже нет времени.

Вот то, что ты должен был от меня услышать. Я за всю жизнь не видел художника с таким великим талантом, как у тебя, Герман. Ты и сам этого пока не понимаешь, не знаешь сокровища, что носишь внутри, но оно у тебя есть; мое же единственное достижение в искусстве – это то, что я его разглядел. Я изучал тебя – и понял больше, чем ты сам себя понимаешь. Теперь тебе нужен настоящий учитель, тот, которого заслуживает твой дар, кто-то, кто даст тебе больше, чем жалкое ученичество у меня. Ты повелеваешь светом, Герман, а мы все только прислуживаем тебе. Никогда этого не забывай.

Ну вот, отныне твой бывший учитель становится твоим учеником и лучшим другом. Навсегда.

Сальват».

Через неделю Герман, страдая в Барселоне от невыносимых воспоминаний, уехал в Париж, где быстро нашел место преподавателя в школе рисунка и живописи, и десять лет не возвращался домой.

В Париже Герман стал довольно известным портретистом и на всю жизнь приобрел страсть к опере. Его полотна уже неплохо продавались, и один галерист, знавший его еще во времена Сальвата, решился устроить ему выставку. Жил он небогато, но вполне достойно на заработок преподавателя и гонорары. С помощью некоторой экономии и ректора своей школы, у которого родни было полгорода, он весь сезон держал себе кресло в ложе Парижской оперы. Без излишеств – шестой ряд амфитеатра слева. Сцену он при этом видел лишь на две трети, зато музыку слышал в полном объеме, музыку ликующую и всепобеждающую, музыку, которая знать ничего не знает о ценах на ложу в Парижской опере.

Там он ее и увидел в первый раз. Она напоминала женскую фигуру с полотен Сальвата, но даже ее красота была ничтожна в сравнении с ее голосом. Звали ее Кирстен Ауэрманн. Ей было девятнадцать, и ей пророчили большое будущее в мире музыки. В тот вечер после представления был банкет, и Герман присутствовал как музыкальный критик газеты «Монд». Когда его представляли, он пожал ее руку и застыл, словно, пораженный громом.

– Для критика вы как-то молчаливы, – пошутила Кирстен. – А что у вас за акцент?

В этот момент Герман решил, что он женится на этой девушке, даже если весь мир будет против, даже если придется положить на это всю жизнь. Он лихорадочно вспоминал, как действовал в таких случаях обольстительнейший Сальват, но без пользы: Сальват был неподражаем. Так началась долгая шестилетняя любовная игра в кошки-мышки, благополучно закончившаяся в маленькой нормандской церкви в конце лета сорок шестого года. Призрак войны еще витал над этими местами, как смрад плохо зарытых могил.

Кирстен и Герман вскоре поселились в Барселоне, в Сарья. Особняк за время отсутствия хозяина превратился в фантастический гибрид музея и мавзолея. Но три недели чистки и мытья, а главное – присутствие Кирстен, несущей с собою свет и радость, сделали это здание настоящим домом.

И для этого дома началась эпоха нового, невиданного прежде процветания. Герман писал без устали, сам не понимая, откуда у него берется эта неиссякаемая энергия. Его работы ценились все выше, их стремились приобрести во все более высоких кругах общества, и скоро «иметь хоть одного Блау» стало повсеместным требованием хорошего вкуса. Отец Германа тут же объявил, что он всегда гордился талантом сына и верил в его успех. «У семьи Блау таланты в крови, а он – настоящий Блау» и «это лучший сын на свете, я им безмерно горжусь» стали его самыми повторяемыми в обществе фразами. Он так усердно их твердил, что и сам наконец поверил в то, что говорил. Те галеристы и владельцы выставочных залов, которые раньше не хотели знать Германа, нынче заискивали перед ним. Но посреди всей этой ярмарки тщеславия и ханжества Герман ни на минуту не забывал того, чему его учил Сальват.

Музыкальная карьера Кирстен была еще успешнее. Она стала ведущей певицей того поколения, что обессмертило классический репертуар в записях на усовершенствованные виниловые пластинки, с частотой вращения семьдесят восемь оборотов в минуту. Это были годы безмятежного счастья на вилле в

Сарья. Все мечты сбывались, и на небе будущего не было ни облачка.

На дурноту и обмороки, которым была подвержена Кирстен, никто не обращал особенного внимания до тех пор, пока не стало слишком поздно. Они легко объяснялись усталостью певицы, ведущей напряженную творческую жизнь с гастрольными поездками, ответственными записями, непрерывным трудом. Наконец настал день, когда ее жизнь полностью изменилась после визита к доктору Кабрилсу. Он сообщил ей две новости. Первая – она беременна. Вторая – у нее неизлечимая болезнь крови, которая неотвратимо убивает ее. Остался год, много – два.

В тот же день, выйдя от доктора, Кирстен заказала на Виа Аууста, в швейцарском магазине, золотые часы с надписью в подарок Герману.

Герману,

Повелителю света

К.А.

19–1–1964

И эти часы начали отсчитывать время, которое им осталось вместе провести на земле.

Кирстен бросила сцену. Пышное прощание состоялось в барселонском театре «Лисео» на опере Делиба «Лакме» – Кирстен очень любила Делиба. Потом говорили, что никто и никогда не слышал звуков, подобных ее божественному голосу в тот вечер. За месяцы беременности, которые Кирстен провела с мужем, он написал серию ее портретов, каждый из которых был лучше предыдущего. Он никогда не выставлял их на продажу.

26 сентября 64-го года в доме в Сарья родилась девочка со светлыми волосами и пепельно-серыми, как у матери, глазами. Ее назвали Мариной. Она точно сохранила стать, лицо и лучезарность своей матери. Спустя полгода Кирстен

Ауэрманн умерла. В той самой комнате, где родила свою дочь и где была много лет так счастлива с Германом. Он держал в руках дрожащую, бледную руку умирающей жены. Рука эта была уже совсем холодна, когда на рассвете Кирстен вздохнула в последний раз.

Через месяц после похорон Герман поднялся в свою студию на верхнем этаже дома. Маленькая Марина играла на полу у его ног. Он взял в руки кисть и поднес было ее к полотну – но не смог коснуться его, глаза ослепли от слез, кисть выпала из ослабевших пальцев. Герман Блау больше никогда не вернулся к живописи. Свет погас.

9

В ту осень мои визиты в дом Германа и Марины стали ежедневными. На занятиях я грезил наяву, нетерпеливо ожидая момента, когда можно будет наконец улизнуть из интерната в заветный тихий переулок. Там меня каждый день (кроме понедельников, когда Герман в сопровождении Марины ходил в больницу) ждали новые друзья. Мы вместе пили кофе и болтали в уютном сумраке комнат их особняка. Герман решил научить меня играть в шахматы, но его уроки не помогали мне, и Марина обычно ставила мне шах и мат через пять минут игры; я, однако, все не терял надежды.

Так незаметно для меня самого жизнь Марины и Германа стала и моей жизнью. Моими стали воспоминания, витавшие в сумраке дома, да и сам дом тоже. Я понял, что Марина не ходит в школу, чтобы никогда не оставлять одного больного отца. Герман, по ее словам, уже научил ее читать, писать и думать.

– Кому нужны арифметики, геометрии и тригонометрии этого мира, если человек так и не научился думать сам? – оправдывалась Марина. – А вот думать-то как раз ни в одной школе не учат. В программах этого нет.

Герман открыл Марине мир живописи и прочего искусства, обучил истории и началам наук. Огромная библиотека их дома стала ее вселенной. Каждая книга открывала дверь все в новые и новые миры, вела к новым идеям. Однажды погожим октябрьским вечером мы с Мариной сидели на подоконнике верхнего этажа в их доме и любовались далекими огнями Тибидабо. Марина призналась

мне, что мечтает стать писательницей. У нее был целый портфель рукописей сказок, историй, рассказов, которые она, как оказалось, писала с девяти лет. Я попросил почитать – она взглянула на меня как на сумасшедшего и наотрез отказалась. «Это, должно быть, как с шахматами, – робко подумал я. – Пройдет время, освоюсь».

Я часто наблюдал Германа и Марину вдвоем, когда они чувствовали себя свободно – читая, перешучиваясь над шахматной доской голова к голове. Их связывало что-то очень прочное, они были в их собственном волшебном мире, куда не было доступа простым смертным, и порой я боялся разрушить чары своим присутствием. Возвращаясь в интернат, я чувствовал себя счастливейшим человеком в городе, потому что был допущен к границам их зачарованного мира.

Не задаваясь вопросом о причинах, я хранил нашу дружбу в тайне. Жил, не говоря о них ни слова никому, даже верному Джи-Эф. За несколько недель Марина и Герман стали моим секретным убежищем, моим тайным и, сказать по правде, единственным миром, в котором я был согласен жить. Припоминаю один случай: Герман рано ушел отдыхать, простившись с нами с той утонченной учтивостью, которую люди забыли в первой половине двадцатого века. Я остался наедине с Мариной в портретной галерее. Загадочно улыбнувшись, она призналась, что пишет обо мне. Работает надо мной, как она выразилась. Меня чуть не парализовало от страха.

– Надо мной? В каком смысле?

– Ну, не в том смысле, чтоб зависать над твоей головой…

– До такой степени простодушия я еще не дошел…

– Я имею в виду, что пишу о тебе. Создаю образ.

Марина, кажется, наслаждалась тем, как нервно я отреагировал.

– А что? – вызывающе спросила она. – Ты не считаешь себя достойным объектом внимания? Так низко себя ставишь?

На этот вопрос у меня ответа не было. И я решил перехватить инициативу, вспомнив уроки Германа по шахматной тактике: когда противник неожиданно берет тебя за нежное место, презри боль и с воплем кидайся в контратаку.

– Что ж, – заявил я, – у тебя только один выход: познакомить меня с текстом.

Марина задумчиво выгнула бровь.

– Знать, что пишут обо мне – мое несомненное право, – настаивал я.

– Тебе не понравится.

– Как знать.

– Я это обдумаю.

– Я подожду.

Холод рухнул на Барселону в своем обычном стиле, а именно, как метеоритная атака. За несколько часов столбики всех термометров города уткнулись в ноль, съежившись, как продрогшие зверьки. Из шкафов на смену легким габардиновым плащам стройными рядами выдвинулись тысячи толстых зимних пальто. Серое небо стального оттенка отлично гармонировало с ветром, кусающим щеки и уши. Герман и Марина удивили меня, неожиданно подарив шерстяную шапочку, с виду стоившую очень дорого.

– Надевайте, друг мой Оскар, – увещевал меня Герман. – Мысль – самое дорогое на свете, а носитель мысли – мозг, так что защищайте голову от простуды.

В середине ноября Марина сказала, что они с Германом должны съездить в Мадрид на неделю. Германа обещал принять один очень выдающийся врач из Ла-Паса, который разработал новейшую методику лечения его болезни, в Европе пока неизвестную.

– Говорят, он просто чудеса творит… – неуверенно сказала Марина.

Мысль о том, что придется провести без них целую неделю, легла на душу не то что камнем – могильной плитой. Напрасно я пытался скрыть огорчение. Марина видела меня насквозь. Она накрыла своей ладонью мою.

– Да ладно, это же всего одна неделя. Мы скоро вернемся и снова будем вместе.

Я кивнул, не находя утешения.

– Мы с Германом подумали, не присмотришь ли ты в это время за Кафкой, ну и вообще за домом… – осторожно сказала Марина.

– Господи, разумеется. Все что угодно.

Она расцвела улыбкой, потом пробормотала:

– Вот бы этот доктор на самом деле помог.

Марина подняла на меня глаза, и в их долгом взгляде, в их тихом пепельно-сером сиянии я прочел такую печаль, что совсем растерялся.

– Да, хорошо бы это помогло.

Поезд на Мадрид уходил с Французского вокзала в девять утра. Я сбежал из интерната на рассвете. На все свои отложенные деньги нанял такси, чтобы отвезти Германа и Марину на вокзал. Утро того ноябрьского понедельника было сине-сумеречным, только на востоке горела янтарная полоска зари. Мы ехали молча. Счетчик старого «Фиата» щелкал, как метроном.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/karlos-safon/marina-kupit

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити